

УДК 808.1

ЛИЧНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Н.М. Шевченко

Статья посвящена описанию эстетических и интеллектуальных особенностей языковой личности Марины Цветаевой.

Ключевые слова: языковая личность; картина мира; стереотипы.

PERSONAL CONCEPTION OF M. TSVETAEVA

N.M. Shevchenko

The article regards the description of the aesthetic and intellectual peculiarities of Marina Tsvetaeva's language personality.

Key words: language personality; world view; stereotypes.

Марина Цветаева утверждает, что единственная обязанность на земле человека – правда всего существа.

Её девиз: “Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!” (IV, 456)¹.

Она возмущена: “Бережь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре “бережение” всегда – другого” (IV, 50); “Я свою автобиографию пишу через других, т. е. как другие *себя*, могу любить исключительно другого” (VI, 221).

Мерить её надо, в первую очередь, ее собственной мерой: “Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески – щажу – Не слушайте. – Скажу хуже, пуще – но верней!” (VI, 232).

Для Цветаевой немыслима ситуация стороннего наблюдателя жизни или самодостаточного носителя истины и гармонии для себя. Она могла сознавать себя только посредником между миром истины и людьми. Понять и оценить Цветаеву возможно только через призму ее мирозерцания:

“Всякая рукопись – беззащитна. Я вся – рукопись” (V, 706).

Эту “рукопись” надо читать и знать, чтобы хоть на мгновение приблизиться к Цветаевой как к человеку, поэту, лингвисту, женщине, матери, другу и увидеть ее портрет таким, каков он был и есть.

Среди ее современников было мало тех, кто её услышал, понял, поддержал. Она рано повзрослела и самоизолировалась из общества. Ей не пришлось ощутить за спиной живой стены, а только холодную скалу, которую поэт называла “Судьбой”. Цветаева знала себе цену, которая была и будет высока у знатока и любящего. Польская спесь и немецкая гордыня не позволяли ей подстраиваться, подражать или держать чью-либо марку. Это она легко предоставляла другим, никакая страсть не перекричала в ней справедливости, отсюда все ее потери. Борис Пастернак незадолго до своей смерти писал:

“Я ставлю Цветаеву на высшую ступень – она с самого начала была сформировавшийся поэт. В эпоху косноязычия у нее был свой голос – человеческий, классический... Она более крупный поэт, чем Ахматова, чьей простотой и лиризмом я всегда восхищался...” (VI, 279).

Она верила в свой талант, а – главное – знала, как ее будут читать и любить через сто лет. Цветаева понимала и свою **исключительность**:

“Нет такой жизни, которая вынесла бы мое присутствие” (IV, 606);

и свою **несвоевременность** появления:

“Моя внешняя литературная неудача – в выключенности из литературного круга, в отсутствии рядом человека, который бы занялся моими делами. Внутренняя – нет, тоже внешняя! – ибо внутренние

¹ М. Цветаева. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1995.

у меня были только удачи – в несвоевременности моего появления – что бы на двадцать лет раньше. Мое время меня как действующую силу – смело и смело бы – во всякой стране... Я ему не подошла идейно, как и оно мне” (IV, 601);

и свою **индивидуальность**:

“Если бы я каким-нибудь чудом очутилась на секундочку в чужой грудной клетке, я бы, наверное, почувствовала такой ужас от всей этой путаницы, туманности, неразграниченности чувств и понятий, как другой, если бы взглянул на мир моими близорукими глазами” (IV, 582).

Представление об искусстве, о поэте, о жизни в творчестве Цветаевой совпадает со стереотипами гениальнейших мыслителей, где творец – гений, одаренный Богом, свободно перемещающийся в пространстве и времени. Она не терпела несправедливости и особенно от тех, кто считал себя неуязвимым. Это, как правило, были критики и редакторы, от которых зависела ее судьба.

Как человек, преданный высшим ценностям бытия, Цветаева считала, что критик должен увидеть за триста лет и за тридевять земель. Она читала всю критику о своем творчестве, но прислушивалась только к “большому” голосу, чей бы он ни был: Она считала, что истинный критик – пророк.

Врожденная эмоциональность Цветаевой обеспечила ее творчеству много недоброжелателей. Одни говорили о “непонятности”, другие – о “дурном вкусе”, третьи – о “надломленности”. В письме к Раисе Николаевне Ломоносовой Цветаева писала:

“Мне часто говорят, еще чаще – говорили, что у меня вместо сердца – еще раз ум, – что отнюдь не мешало – критикам например – обвинять меня в бессмысленности” (VII, 319).

Необычайный талант Цветаевой часто приводил к размовкам, ссорам и скандалам. Она пишет А.В. Бахраку, собираясь в Берлин:

“Приеду недели на две. Думаю, достаточный срок, чтобы со старыми перессориться и с новыми подружиться” (VI, 575).

Все это прекрасно понимала сама Цветаева, но не могла отказаться от осознания и осмысления “истоков бытия”.

Она была прекрасным чтецом, рассчитывающим на эффектность своего выступления, хорошо знала и свой зал, и своих оппонентов. Эту сторону таланта Цветаевой мы узнаём от ее почитателей:

“Все до сегодняшнего утра живут вчерашним вечером. Как радостно на Rouvet! Огромная прекрасная победа Марины Ивановны. Привожу себя в порядок, чтобы суметь рассказать... <...> Картина грандиозная! Марина Ивановна не может пройти к своей кафедре. Мертвый, недвижимый комок людей с дрожащими в руках стульями над головами затер ее и Алю. Марине Ивановне целуют руки, но пропустить не в силах. <...>. В результате – великая правда Божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят: все Цетлины, Познеры – толкуются в проходах.

Марина Ивановна всходит на высокую кафедру. Наши черное платье с замечательной бабочкой сбоку, которую вышила Оля. Голова М.И., волосы, черное платье, строгое, острое лицо – говорят стихи заодно с готическими окнами – с капеллой. Читала М.И. прекрасно, как никогда. Каждый стих находил свой конец в громких ладонях публики (!). Публика оказалась со слухом. <...> М.И. читала вначале стихи о Белой армии. Во втором отделении – новые стихи. <...> Весь вечер – апология М.И. Большой, крупный успех. Отчетливо проступила: после Блока – одна у нас – здесь – Цветаева. Сотни людей ушли обратно, не пробившись в залу, – кассу закрыли в 9 ½ часов, – а публика продолжала валом валить. Милюков с женой не могли достать места, Руднев, Маклаков – стояли в проходе. Кусиков с тремя дамами не добился билетов (упоминаю о Кусикове, ибо он специалист в этой области). <...> Да, Адя, видел своими глазами – у многих литераторов вместо зависти – восторг. Как хорошо! Если бы навсегда можно было заменить зависть – восторгом”, – писал В.Б. Сосинский своей невесте – будущей жене – Ариадне Викторовне Черновой 7 февраля 1926 года.

Марина Ивановна любила, понимала и знала искусство. Поэзию она считала своим родным домом:

“Для меня стихи – дом, “хочу домой” с чужого праздника...” (IV, 539).

Она убеждена, что ничего оскорбительного – не понимать в сапогах, полное оскорбление – не понимать в стихах. Цветаева вспоминала:

“Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса (V, 76).

Этот приём стал индивидуализатором и в языке Цветаевой:

“Кто я? Природа, поднятая на мятеж с совестью” (V, 701).

Вопросы Цветаевой – это попытка сразу же заинтересовать читателя, заставить вступить в диалог. Она хорошо чувствует своего собеседника: разъясняет, доказывает и утверждает, но всегда придерживается своих норм творчества – есть вопрос – должен быть абсолют ответа:

“Абсолют отбрасывает – к созданию абсолюта же! В этом и заключается их действительность и вечная жизнь” (IV, 515).

Это одна из главных особенностей, которая оформляет индивидуальность языкового портрета Марины Ивановны. Она считала, что настоящее искусство свято и должно отрешать, просвещать, очищать, но не обольщать. Основная тактика ее рассуждений – вопросы и для себя, и для читателя:

“В чем отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь!” (V, 346);

“Но если произведение искусства тоже произведение природы, почему же мы с поэмы спрашиваем, а с дерева – нет, в крайнем случае пожалею – растет криво ... Земля, рождающая, безответна, а человек, творящий – ответственный” (V, 347).

Нередко Цветаева вносит вопрос в начало предложения. Это экспрессивно-стилистическое средство позволяет показать, что более всего интересует автора. Читатель мысленно имеет возможность дать ответ или вступить в диалог с автором, всегда поединок, схватка, борьба, взаимодействие:

“Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Весть в меня ударяет, а я отвечаю, отдавая. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи, ставлю вопрос. <...> Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, – предположим, удалась синева – где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с Бога. Море – и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать, – вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать. Дар отдачи. Благодарность” (IV, 107).

Рядом ответов, к которым нет вопросов, она акцентирует внимание и читателя, и собеседника на тех положениях, которые утверждает в своем ответе. Она сосредоточивает главное внимание на острых социально-нравственных и философских вопросах, считая, что на всякий нескромный вопрос можно ответить скромно.

Она открыта и способна оценивать и направлять эмоции. Ей удается с каждым говорить на его языке. У нее индивидуальная коммуникативная тактика, совершенно непредсказуемая в беседе или диалоге:

“На слова, вроде “неблаговидный поступок” принято отвечать не словом, а жестом” (VI, 51).

Она очень впечатлительна и ее единственное желание, чтобы человек радовался ее присутствию. Ей совершенно не свойственна предприимчивость, она не сделала ни одного шага ни для своей славы, ни для своего счастья и была уверена, что слава и счастье должны явиться, как солнце. Цветаева обладала уравновешенным самоумнением и принимала критику только серьезную и справедливую:

“Видите, во всем сошлись, и это не уступка. Я просто доступна воспитанию. Все Ваши отметки – правильны. Спорить нечего. Мне дорога вообще правда: чистота вывода” (VII, 34), – признается она Д.А. Шаховскому.

Все чувства Цветаевой отличаются внутренним единством и устойчивостью, это объясняется, прежде всего, особой реакцией поэта на действительность, ее особым взглядом на жизнь и искусство:

“Все в мире сем надо завоевывать – т. е. за все платить собой – друга как женщину и книгу как друга. Готового нет. Есть, но неизбежно второй или третий сорт” (IV, 596),

– этот принцип проявляет особенность ее жизни. У нее во всем золотая середина. Она не госпожа, но и не баба. Она не проявляет солидарности ни одной из них. Она неуязвима, она поэт, женщина, жена, мать, друг. Цветаева никогда не была к себе снисходительна, она не позволяла себе ни расслабленности, ни небрежности – каковы бы ни были средства выражения. Перейдя от стихов к прозе, она не потеряла собственного голоса. Прозу писала редко, скорей в порядке не события, а состояния. У нее были свои приоритеты: она не признавала нового написания – без ятей и ерей; не придерживалась она и нового календаря; к любому знакомству подходила индивидуально и осторожно; была отзывчива на чужую беду:

“...приехал из Берлина – работать в Париже известный в России художник <...> (ряд картин в Третьяковке и в петербургском Музее...) <...> Он абсолютно благороден, я за него ручаюсь во всех отношениях. Ему необходимо помочь” (VII, 143),

– обращается она в письме к С.Н. Андронниковой-Гальперн. Ее больше тревожит чужая беда, оправдывая это тем, что столько бед вокруг, что забываешь о своих.

Тех, кто понимал Цветаеву, было мало. В каждом случае побеждают разум и внутренняя организованность. Преданного друга нашла Цветаева в лице Владимира Брониславовича Сосинского. Он восторгался ее стихами и всегда был готов помочь. Она знала, что в трудную минуту могла рассчитывать на него. Он вызвал на дуэль недоброжелательного критика, публично оскорбившего Цветаеву, и добился от *недуэльнообразного* писаки извинений (Вопросы литературы, 1991, № 6, 197–207).

В 1928 г. выходит сборник “После России”. Цветаева питала большие надежды на этот сборник и не обманулась в своих ожиданиях. Критика высоко оценила стихи. Первый отзыв на сборник “После России” появился за подписью М. Слонима в газете “Дни” (17 июня 1928 г.). Сразу вслед за ним были опубликованы рецензии В. Ходасевича (Возрождение. – 1928. – 19 июня.), Г. Адамовича (Последние новости. – 1928. – 21 июня). Марк Слоним писал, что трагическая муза Цветаевой всегда идет по линии наибольшего сопротивления. Он отмечает в ее поэзии своеобразный максимализм, который иные назовут романтизмом. “Да, пожалуй, это романтизм, если этим именем называть стремление к пределу крайнему и ненависти к искусственным ограничениям – чувств, идей, страстей... Стихи и в самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая, почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, – им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой”, а Владислав Ходасевич считал, что эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока. “Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, каждым душевным движением, что главной заботой становится – закрепить наибольшее число их в наиболее строгой последовательности, не расценивая, не отделяя важно-го от второстепенного, ища не художественной, но скорее психологической достоверности”. Он считал, что поэзия М. Цветаевой чиста и откровенна и стремится стать дневником. Георгий Адамович, не принимающий ее поэзии в рецензии как бы оправдывался, отвечая на свои вопросы: “Почему стихи Цветаевой мне все-таки нравятся и почему наконец “плюсы” их в моем представлении перевешивают “минусы”. Великим и значительным плюсом в стихах Цветаевой рецензент считает эротичность в высшем смысле этого слова. Главную прелесть стихов он видит в том, что стихи излучают любовь и любовью пронизаны, они рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. Адамович считает, что стихи эти писаны от душевной щедрости, от сердечной расточительности. Оппонент даже уверен, что от стихов Цветаевой человек станет лучше, добрее, самоотверженнее, благороднее. Он не нашел в себе ни сил, ни желания довести эстетизм до такого предела, чтобы, сознавая это, стихи Цветаевой отвергнуть. Эти стихи он “принял”.

Цветаева умеет радоваться успехам собратьев и поддержать их в трудную минуту:

*“Единственная радость (не считая русского чтения Мура, Алиных рисовальных удач и моих стихотворений) – за все это время – долгие месяцы – вечер Игоря Северянина. Он больше чем: остался поэтом, он – стал им. На эстраде стояло двадцатилетие. Стар до обмирания сердца: морицин как у **трехсотлетнего**, но – занесет голову – все ушло – соловей! Не поет! Тот словарь ушел. При встрече расскажу все как было, пока же: первый мой ПОЭТ, т. е. первое сознание ПОЭТА за 9 лет (как я из России) (VII, 135).*

Она много и несправедливо страдала из-за отношения к себе эмигрантской среды, с которой плохо ладила – и если изредка раздавался её голос, то это всегда *правда*, без всякого расчета. После выступления Владимира Маяковского в Париже появилось открытое письмо Цветаевой “Россия еще жива!”. А на другой день её выкинули из всех эмигрантских газет (где изредка печатались стихи) – дескать, “советская, опасная” – та, которая в разгар революции, в 1919-м, самом страшном году, перед залом в 2000 человек вещала с эстрады о своей любви к последнему царю. Она совсем одинока, и в жизни, и в работе: за границей – “русская”, в России – “иностранка”. В то время признанным лидером эмигрантской критики был Георгий Адамович, который не мог понять ее просодии. Несправедливости она не прощала ни друзьям, ни врагам:

“Я очень злопамятная и никогда никому не прощаю обиды” (VI, 20).

Поэтому большая часть ее знакомств была кратковременна. Очень быстро разрушились хорошие отношения с Вишняком, с Эренбургом, с Ремизовым и др. Марина шла напролом. Она дерзка только с теми, от кого зависела популярность ее творчества. Рук она никогда не опускала и продолжала писать. Она не могла предоставить своим врагам торжества – заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта прозаика, а из прозаика – покойника. Этим самым она бросает вызов окружающим. Во всех случаях инстинкт подталкивает ее к отрицанию. Негодование в ней растет с каждым годом – днем – часом. Отношение окружающих к себе она сравнивает с блоковской интонацией: *“Разве так суждено меж людьми?”*.

В Море-Сю-Луан она получает письмо и сборник стихов от молодого поэта Анатолия Штейгера. Стихи очень грустные, с душевным надломом. Ей поверилось, что она кому-то как хлеб нужна. Цветаева предлагает ему бескорыстную поддержку. На деле оказалось, что не хлеб нужен, а Адамович. Цветаева могла

приветствовать только самосожжение на творческом костре, но не случайности. Лень, прихоть и слабость для неё самые отвращающие вещи в творчестве. Она понимала, что воспитанностью своей все свои деловые дела портит. Несправедливые замечания в свой адрес Марина не простила даже самым близким. В своей работе она очень одинока, среди писателей друзей нет: для старых (Бунин, Зайцев) она слишком сложна, для молодых она слишком сильна. Ей ни с кем не по дороге. Но даже тяжелые минуты духовного одиночества Цветаева попыталась превратить в любимые минуты общения “про себя”. С сожалением надо отметить, что такие минуты были не редки, но именно они помогли в полном объеме раскрыть культурное наполнение, интеллектуальное совершенство, высокие эстетические нормы, эмоциональную насыщенность, непревзойденный талант и понять душевный надрыв Марины Цветаевой.